

## Тема: КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

### 3. ФРЕЙД

...Ограничимся повторением \*, что термин «культура» обозначает всю сумму достижений и институций, отличающих нашу жизнь от жизни наших предков из животного мира и служащих двум целям: защите человека от природы и урегулированию от отношений между людьми. Для лучшего понимания рассмотрим подробно характерные черты культуры, какими они себя проявляют в человеческих коллективах. При этом без опасений позволим себе руководствоваться обычным словоупотреблением, или, как говорится, будем следовать чувству языка в расчете на то, что таким образом мы сможем учесть внутреннее содержание, еще противящееся выражению в абстрактных терминах.

Начать легко: мы признаем в качестве свойственных культуре все формы деятельности и ценности, которые приносят человеку пользу, способствуют освоению земли, защищают его от сил природы и т. п. По поводу этого аспекта культуры возникает меньше всего сомнений. Заглядывая достаточно далеко в прошлое, можно сказать, что первыми деяниями культуры были — применение орудий, укрощение огня, постройка жилищ. Среди этих достижений выделяется, как нечто чрезвычайное и беспримерное,— укрощение огня, что касается других, то с ними человек вступил на путь, по которому он с тех пор непрерывно и следует; легко догадаться о мотивах, приведших к их открытию. При помощи всех своих орудий человек усовершенствует свои органы — как моторные, так и сенсорные — или раздвигает рамки их возможностей. Моторы предоставляют в его распоряжение огромные мощности, которые он, как и свои мускулы, может использовать в любых направлениях; пароход и самолет позволяют ему беспрепятственно передвигаться по воде и по воздуху. При помощи очков он исправляет недостатки кристаллика своего глаза; при помощи телескопа он видит далеко вдаль, а микроскопы позволяют ему преодолеть границы видимости, поставленные ему строением его сетчатки. Он создал фотографическую камеру — аппарат, фиксирующий самые мимолетные зрительные впечатления, что граммофонная пластинка позволяет ему сделать в отношении столь же преходящих звуковых впечатлений; и то и другое является, по существу, материализацией заложенной в нем способности запоминать, его памяти. При помощи телефона он слышит на таком расстоянии, которое даже в сказках казалось невысказанным, письменность первоначально — язык отсутствующих, жилище — подмена материнского чрева, первого и, вероятно, по сей день вождя обиталища, в котором человек чувствовал себя так надежно и хорошо.

Это звучит не только как сказка, это просто исполнение всех,— нет — большинства — сказочных пожеланий; и все это осуществлено человеком при помощи науки и техники на земле, на которой он сначала появился как слабое животное, на которой и теперь каждый индивид должен появляться как беззащитный младенец — Oh inch of nature! Все это достояние он может

рассматривать как достижение культуры. С давних времен человек создавал себе идеальное представление о всемогуществе и всезнании, которые он воплощал в облике своих богов, приписывая им все, что казалось ему недостижимым для его желаний или что было ему запрещено. Поэтому можно сказать, что боги были идеалами культуры. И вот ныне человек значительно приблизился к достижению этих идеалов и сам стал почти богом. Правда, лишь в той мере, в какой идеалы достижимы по обычному человеческому разумению. Не полностью, в каких-то случаях, и вообще не стал, а в иных — лишь наполовину. Человек таким образом как бы стал чем-то вроде бога на протезах, очень могущественным, когда он применяет все свои вспомогательные органы, хотя они с ним и не срослись и порой причиняют ему еще много забот. Но человек вправе утешаться тем, что это развитие не кончится 1930-м годом нашей эры. Будущие времена принесут новый прогресс в этой области культуры, который, вероятно, трудно себе даже представить и который еще больше увеличит богоподобие человека. Но в интересах нашего исследования мы не должны забывать, что современный человек, при всем своем богоподобии, все же не чувствует себя счастливым.

Итак, мы считаем, что та или иная страна достигла высот культуры, если видим, что в ней все, что касается использования человеком земли и защиты его от сил природы, тщательно и целесообразно обеспечено, т. е., короче говоря, обращено на пользу человека. В такой стране реки, грозящие наводнениями, урегулированы в своем течении, а их воды отведены через каналы в те места, где в ней есть нужда. Почва тщательно возделана и засеяна растениями, для произрастания которых она пригодна; ископаемые богатства усердно подаются на гора и перерабатываются в требуемые орудия и аппараты. Средств сообщения много, они быстры и надежны; дикие и опасные животные уничтожены, а разведение прирученных домашних животных процветает. Но к культуре мы предъявляем и иные требования и, как это ни удивительно, рассчитываем увидеть их реализованными в тех же странах. Дело происходит так, как если бы мы, отказавшись от нашего первоначального критерия, приветствовали в качестве достижения культуры заботы человека о вещах, которые ни в коей мере не являются полезными, а скорее кажутся бесполезными, например, когда мы отмечаем, что парковые насаждения, необходимые для города, в качестве площадок для игр или резервуаров свежего воздуха, используются также и для цветочных клумб, или когда мы отмечаем, что окна в квартирах украшены цветочными горшками. Легко заметить, что бесполезное, оценку которого мы ждем от культуры, есть не что иное, как красота; мы требуем, чтобы культурный человек посчитал красоту каждый раз, как он с ней сталкивается в природе, и чтобы он ее создавал предметно, в меру возможностей труда своих рук. И этим еще далеко не исчерпываются наши притязания к культуре. Мы хотим еще видеть признаки чистоты и порядка. У нас не создается высокого мнения о культуре английского провинциального города времен Шекспира, когда мы читаем, что у дверей его родительского дома в Стратфорде лежала высокая куча навоза; мы возмущаемся и осуждаем как «варварство», т. е. как антипод

культуры, когда мы замечаем, что дорожки Венского парка усеяны разбросанными бумажками. Любая грязь кажется нам несовместимой с культурой; требования чистоплотности распространяем мы и на человеческое тело; мы с удивлением узнаем о том, какой плохой запах шел от особы Короля-Солнца, и покачиваем головой, когда на *Isola bella* нам показывают крошечный тазик для мытья, которым пользовался Наполеон для своего утреннего туалета. Мы отнюдь не удивляемся, когда кто-то считает потребление мыла прямым критерием высокого уровня культуры. То же можно сказать и в отношении порядка, который так же, как и чистота, полностью является творением рук человеческих. Но в то время, как рассчитывать на чистоту в природе едва ли приходится, порядок нами скопирован скорее всего именно с нее, наблюдение над большими астрономическими закономерностями создало для человека не только прообраз, но и первые исходные предпосылки для установления порядка в собственной жизни. Порядок — это своего рода принудительность повторения, будучи раз установленным, он определяет — что, когда и как должно быть сделано, чтобы в каждом аналогичном случае можно было бы избежать промедления и колебания. Благо порядка нельзя отрицать, он обеспечивает человеку наилучшее использование пространства и времени и экономит его психические силы. Мы были бы вправе рассчитывать, что порядок с самого же начала и без принуждения установится в сфере человеческой деятельности, и можно только удивляться, что этого не случилось; человек в своей работе скорее обнаруживает врожденную склонность к небрежности, неупорядоченности, он ненадежен, и только с большим трудом его можно воспитать так, чтобы он стал подражать небесным образцам порядка. Красота, чистоплотность и порядок занимают, очевидно, особое место в ряду требований, предъявляемых культурой. Никто не будет утверждать, что они столь же жизненно необходимы, как и господство над силами природы и другие факторы, с которыми нам еще предстоит познакомиться; но и никто охотно не согласится рассматривать их как нечто второстепенное. То, что культура заботится не только о пользе, нам показывает уже пример с красотой, которая не может быть исключена из сферы культурных интересов. Польза порядка вполне очевидна, что же касается чистоты, то мы должны принять во внимание, что ее требует гигиена, и мы можем предположить, что понимание этой зависимости не было полностью чуждо людям и до эпохи научного предупреждения болезней. Но польза не объясняет нам полностью это стремление; тут должно быть замешано еще что-то другое.

Никакая другая черта культуры не позволяет нам, однако, охарактеризовать ее лучше, чем ее уважение к высшим формам психики человеческой деятельности, к интеллектуальным, научным и художественным достижениям и забота о них, к ведущей роли, которую она отводит значению идей в жизни человека. Среди этих идей во главе стоят религиозные системы, сложное построение которых я постарался осветить в другом месте; затем следуют философские дисциплины и, наконец, то, что можно назвать

формированием человеческих идеалов, т. е. представления возможного совершенства отдельной личности, целого народа или всего человечества, и требования, ими на основании этих представлений выдвигаемые. Так как эти творческие процессы не протекают независимо друг от друга, а скорее друг с другом тесно переплетены, это затрудняет как их описание, так и психологическое исследование их генезиса. Если мы в самом общем порядке примем, что пружина всей человеческой деятельности заключается в устремлении к двум конвергирующим целям — пользе и получению наслаждения, то мы это должны признать действительным и для вышеприведенных культурных проявлений, хотя это легко заметить только в отношении научной и художественной деятельности. Но не приходится сомневаться, что и другие формы соответствуют каким-то сильным человеческим потребностям, хотя они, быть может, развиты только у меньшинства. Не следует также давать вводить себя в заблуждение оценочными суждениями по поводу отдельных религиозных или философских систем и их идеалов; будем ли мы их рассматривать как величайшие достижения человеческого духа, или осуждать как заблуждения, мы должны признать, что их наличие, а в особенности их господствующее положение, является показателем высокого уровня культуры.

В качестве последней, однако, отнюдь не маловажной характерной черты культуры мы должны принять во внимание способ, каким регулируются отношения людей между собой, т. е. социальные V) отношения, касающиеся человека как соседа, как вспомогательной рабочей силы, как чьего-нибудь сексуального объекта, как члена семьи или государства. В этой сфере будет особенно трудно отрешиться от определенных идеальных требований и выделить то, что относится к культуре, как таковой. Быть может, следовало бы начать с утверждения, что фактор культуры появляется с первой же попытки установить эти социальные взаимоотношения. Если бы не было такой попытки, эти взаимоотношения подчинились бы своеволию каждой отдельной личности, т. е. устанавливались бы в зависимости от физической силы этой личности и согласно ее интересам и влечениям. Положение не менялось бы от того, что эта сильная личность наталкивалась бы в свою очередь на личность еще более сильную. Совместная человеческая жизнь становится возможной только тогда, когда образуется некое большинство, более сильное, чем каждый в отдельности, и стойкое в своем противопоставлении каждому в отдельности. Власть такого коллектива противостоит тогда, как «право», власти отдельного человека, которая осуждается как «грубая сила». Эта замена власти отдельного человека властью коллектива и есть решительный шаг на пути культуры. Сущность этого шага заключается в том, что члены ' коллектива ограничивают себя в своих возможностях удовлетворения, в то время как отдельный человек не признает этих рамок. Первое требование культуры заключается, следовательно, в требовании справедливости, т. е. гарантии того, что раз установленный правовой порядок не будет вновь нарушен в чью-либо индивидуальную пользу. Но этим еще не решается вопрос об этической ценности такого права. Дальнейшее

культурное развитие как будто бы направлено на то, чтобы такого рода право не стало волеизъявлением небольшого коллектива — касты, прослойки населения, племени,— правом коллектива, который по отношению к другим, может быть даже более многочисленным массам, не занял бы позицию, подобную индивидуального насильника. Конечным результатом должно явиться право, в создании которого участвовали бы все (по меньшей мере — все способные к общественному объединению), пожертвовавшие своим инстинктом; право (с тем же ограничением), которое не позволяет никому стать жертвой грубой силы.

Индивидуальная свобода не есть достижение культуры. Она была максимальной еще до всякой культуры, правда, тогда она не имела большой цены, так как единичный человек едва ли был в состоянии ее защитить. Развитие культуры налагает ограничения на эту свободу, а справедливость требует, чтобы от этих ограничений никому нельзя было уклониться. То, что в человеческом обществе проявляется как жажда свободы, может быть направлено на борьбу с существующей несправедливостью и в этом смысле быть благоприятным для дальнейшего развития культуры. Но это же может брать свое начало в недрах первобытной, неукрощенной культурой личности и тогда быть враждебным самим основам культуры. Жажда свободы, таким образом, или направлена против отдельных форм и притязаний культуры, или — вообще против культуры. Едва ли какое-либо воздействие может позволить преобразовать природу человека в природу термита, он, вероятно, всегда будет защищать, вопреки воле масс, свое притязание на индивидуальную свободу. Значительная часть борьбы человечества концентрируется вокруг одной задачи — найти целесообразное, т.е. счастливое, равновесие между индивидуальными требованиями и культурными требованиями масс; одна из роковых проблем человечества заключается в том, достижимо ли это равновесие при помощи определенной организации человечества или этот конфликт останется непримиримым.

До тех пор пока мы руководствовались общим впечатлением о том, какие черты в жизни людей могут быть названы культурными, мы создали себе довольно ясное представление об общем характере культуры, но, однако, пока еще не узнали ничего, что не было бы общеизвестным. При этом мы старались избежать предрассудка, который ставит знак равенства между культурой и совершенством или путем к этому совершенству, для человека предрешенным. Теперь, однако, напрашивается подход, который, возможно, уведет нас в иную сторону. Культурное развитие представляется нам в виде какого-то своеобразного процесса, протекающего в среде человечества и как будто напоминающего нечто знакомое. Этот процесс можно охарактеризовать изменениями, вызываемыми им в сфере наших инстинктивных предрасположений, удовлетворение которых и есть задача психической экономии нашей жизни. Некоторые из этих первичных позывов ослабляются таким образом, что на их месте появляется то, что мы в случае отдельного индивида называем чертами характера. Самый яркий пример этого процесса был обнаружен в области детской анальной эротики. По мере

повзрелости первоначальный интерес к функции экскреции, ее органам и продуктам заменяется рядом свойств, которые нам известны как бережливость, стремление к порядку и чистоте; эти качества, ценные и желанные сами по себе, могут стать явно преобладающими, и тогда получается то, что называется анальным характером. Мы не знаем, как это происходит, но в правильности этого взгляда не можем сомневаться \*. Но вот мы обнаружили, что порядок и чистоплотность являются существенными требованиями культуры, хотя их жизненная необходимость отнюдь не очевидна, так же как и их пригодность в качестве источников наслаждения. В этом пункте нам впервые бросается в глаза сходство между культурным процессом и развитием либидо отдельного человека. Другие первичные позывы принуждаются к изменению условий своего существования, к переключению на другие пути, что совпадает в большинстве случаев с хорошо известным нам процессом сублимации (целей первичных позывов), но в некоторых случаях может быть и отличным от него явлением. Сублимация первичных позывов - особо ярко выраженная черта культурного развития; именно она дает возможность высшим формам психической деятельности — научной, художественной и идеологической — играть в культурной жизни столь значительную роль. Под влиянием первого впечатления появляется искушение сказать, что сублимация вообще есть навязанная культурой судьба первичных позывов. Но над этим вопросом следует больше поразмыслить. В-третьих, наконец,— и это кажется нам наиболее существенным,— невозможно не заметить, в какой мере культура вообще построена на отказе от первичных позывов, в какой мере ее посылкой является неудовлетворение (подавление, вытеснение или еще что-нибудь?) самых сильных первичных позывов. Эти «культурные лишения» являются доминирующими в большой области со-причина враждебности, с которой приходится бороться всем культурам. Эти же обстоятельства предъявляют большие требования и к нашей научной работе; мы должны многое разъяснить. Нелегко понять, как можно лишить первичный позыв возможности удовлетворения. Это отнюдь не так безопасно; если не принять мер для психологической компенсации, следует считаться с возможностью серьезных потрясений.

Если мы хотим, однако, выяснить, какова возможная ценность нашего взгляда на культурное развитие как на особый процесс, сравнимый с нормальным созреванием индивида, мы, очевидно, должны будем заняться другой проблемой, а именно, поставить себе вопрос, с какими влияниями связано происхождение культурного развития, как оно возникло и чем определяется его течение...

Эта задача кажется чрезмерной, и следует признаться, что от нее можно упасть в уныние. Вот то немногое, что мне удалось разгадать.

После того как примитивный человек открыл, что возможность улучшения его судьбы на земле при помощи труда находится — буквально — в его руках, ему не могло быть безразлично, работает ли кто-либо другой с ним или против него. Этот другой приобрел для него ценность сотрудника,

совместная жизнь с которым была полезной. Еще раньше, в своем обезьяноподобном прошлом, он приобрел привычку создавать семьи; члены семьи и были, вероятно, его первыми помощниками. Создание семьи было, вероятно, связано с тем, что нужда в половом удовлетворении перестала посещать человека неожиданно, как гостя, с тем чтобы после ее отбытия долго о себе ничего не давать знать, а поселилась у человека прочно, как постоянный жилец. Так появилась у мужчины-самца причина, чтобы держать при себе постоянно женщину-самку или, в более общем смысле,— свой сексуальный объект; что касается женщины, то она, не желая расставаться со своими беззащитными детенышами, должна была в их интересах оставаться с более сильным мужчиной. В среде такой примитивной семьи отсутствует еще одна культурная черта: произвол главы семьи и отца был неограниченным. В «Тотем и табу»<sup>1</sup> я попытался показать путь, который ведет от такой семьи к следующей ступени совместной жизни в виде братств.

При расправе с отцом сыновья убедились на опыте, что объединение может быть сильнее каждого в отдельности. Тотемическая культура покоится на ограничениях, которые должны были возлагаться друг на друга для сохранения нового положения. Предписания табу были первым «правом». Сожительство людей покоилось на двух основаниях — на принудительности труда, созданной внешней нуждой, и на силе любви, которая для мужчины определялась нежеланием лишиться своего сексуального объекта в лице женщины, а со стороны женщины — нежеланием расставаться с выделившимися из ее организма детьми. Так Эрос и Ананке также стали праотцами человеческой культуры. Первый успех культуры состоял в том, что отныне большое количество людей смогло оставаться в коллективе. А так как, кроме того, обе мощные силы действовали солидарно, можно было рассчитывать, что и дальнейшее развитие будет протекать гладко как для вящего господства над внешним миром, так и для дальнейшего расширения количества людей, охватываемых коллективом. И нелегко понять, как эта культура может дарить ее участникам что-либо кроме счастья.

Прежде чем приступить к исследованию вопроса,— откуда может возникнуть помеха, позволим себе отвлечь наше внимание рассмотрением положения, согласно которому любовь является одной из основ культуры, и тем заполнить пробел в наших предыдущих рассуждениях. Мы уже отмечали, что половая (генитальная) любовь, давая человеку наивысшие переживания удовлетворения, дает ему, собственно говоря, и идеал счастья, а поэтому естественно было бы и дальше искать удовлетворения стремления к счастью в той же области половых отношений и, следовательно, рассматривать половую эротику как жизненный центр. Мы упоминали также, что, следуя по этому пути, человек становится самым опасным образом зависимым от известной части внешнего мира, а именно от избранного предмета любви, и тем самым подвергает себя опасности самых жестоких страданий, если этот предмет отталкивает его или если он его теряет в силу измены или смерти. Мудрецы всех времен всячески поэтому отсоветовали идти этим жизненным

путем; но несмотря на это, для множества людей он не потерял своей привлекательности.

Незначительному меньшинству, благодаря его конституции, все же окажется возможным найти счастье на этих путях любви, но при этом неизбежны глубокие психические изменения ее функции. Эти личности делают себя независимыми от согласия объекта, придавая главную ценность не тому, чтобы быть любимым, а собственной любви; они защищаются от потери любимого объекта, направляя свою любовь не на отдельные объекты, а в равной мере на всех людей; они избегают изменчивости и разочарований половой любви, отвлекаясь от сексуальной цели и превращая первичный позыв в *заторможенный в смысле цели импульс*. То, что у них таким образом получается,— некое ощущение уравниваемости, уверенности и нежности, имеет лишь очень отдаленное внешнее сходство с беспокойной и бурной жизнью половой любви, из которой оно, однако, произошло. Святой Франциск Ассизский ушел, может быть, дальше всех в таком использовании любви для достижения внутреннего чувства счастья; то, что мы обозначаем как одну из методик осуществления принципа наслаждения, не раз связывалось с религией, с которой она могла соприкоснуться в тех высоких сферах, где пренебрегается как отличием «Я» от объекта, так и различиями между объектами. Этические соображения, глубинная мотивация которых нам еще откроется, склонны рассматривать эту способность всеобъемлющей любви к человечеству и миру как наивысшее достижение, до которого может возвыситься человек. По этому поводу мы уже сейчас не можем удержаться от высказывания двух основных сомнений. Любовь, не производящая выбора, теряет часть своей собственной ценности, так как она несправедлива по отношению к объекту. А затем — не все люди достойны любви.

Любовь, легшая в основу семьи в своем первоначальном облике, в котором она не отказывается от сексуального удовлетворения, и в своей модифицированной форме, как заторможенная в смысле цели нежность, продолжает влиять на культуру. В обеих формах она продолжает выполнять свою функцию — связывания воедино множества людей, причем в более интенсивной форме, чем это удастся достичь интересу трудового содружества. Небрежность языка при употреблении слова любовь имеет свое генетическое оправдание. Мы называем любовью отношения между мужчиной и женщиной, создавшие семью на основе полового удовлетворения, но мы называем любовью и добрые отношения между родителями и детьми или между братьями и сестрами в семье, хотя эти отношения — лишь ингибированная любовь\*), которую мы должны были бы обозначать как нежность. Ингибированная любовь была первоначально любовью вполне чувственной и в бессознательном человека она осталась по-прежнему таковой. Как чувственная, так и ингибированная любовь выходит за рамки семьи и создает новые отношения там, где раньше была отчужденность. Половая любовь ведет к новым семейным образованиям, а ингибированная любовь — к «дружбе», к явлению, которое приобретает важность с точки зрения культуры, так как оно выходит за рамки некоторых

ограничений половой любви, например ее исключительности. Но в течение эволюции отношение любви к культуре теряет свой однозначный характер. С одной стороны, любовь противопоставляет себя интересам культуры, а с другой стороны, культура угрожает любви чувствительными ограничениями.

Такое раздвоение кажется неизбежным, но его причину трудно сразу же распознать. Прежде всего оно проявляет себя в виде конфликта между семьей и теми более крупными коллективами, в состав которых входит отдельный человек. Мы уже догадались, что одним из главных устремлений культуры является объединение людей в большинстве единства. Семья, однако, не хочет освободить человека. Чем теснее связь членов семьи друг с другом, тем больше и чаще они склонны отгораживаться от других и тем труднее для них становится вхождение в более широкий круговорот жизни. Более старая филогенетически (а в детстве исключительная) форма совместной жизни противится смене позднее приобретенной культурной формой. Отделение юноши от семьи становится задачей, при разрешении которой общество ему зачастую помогает ритуалами празднования половой зрелости и принятия в среду взрослых. Получается впечатление, что эти трудности свойственны каждому психическому, а по существу и каждому органическому развитию.

Затем в конфликт с культурой вступают и женщины, осуществляя то же самое сдерживающее и тормозящее влияние, которое вначале проистекало из требований их любви и было положено в основу культуры. Женщины представляют интересы семьи и сексуальной жизни; культурная деятельность все больше и больше становилась делом мужчин и всегда ставила перед ними тяжелые задачи, принуждая их к сублимации первичных позывов, к чему женщины менее приспособлены. Так как человек не располагает неисчислимым запасом психической энергии, он должен разрешать свои задачи при помощи целесообразного распределения либидо. То, что он тратит на достижение культурных целей, он отнимает главным образом от женщины и сексуальной жизни; постоянное общение с мужчинами, его зависимость от отношений с ними отчуждают его даже от обязанностей мужа или отца. Так требованиями культуры женщина оттесняется на второй план и вступает с ней во враждебное отношение.

Что касается культуры, то ее тенденция к ограничению сексуальной жизни выступает не менее явно, чем другая ее тенденция по расширению культурного круга. Уже первая фаза культуры, фаза тотемизма, несет собой запрет кровосмесительного выбора объекта; запрет, нанесший любовной жизни человека, вероятно, самое сильное увечье за все истекшие времена. Табу, закон и обычай вводят затем новые ограничения, касающиеся как мужчин, так и женщин. Не все культуры идут одинаково далеко в этом направлении; объем остаточной сексуальной свободы зависит также и от экономической структуры общества.

Мы уже знаем, что под давлением психо-экономической необходимости культура должна отнимать от сексуальности значительное количество психической энергии, нужной ей для собственного потребления. При этом

культура ведет себя по отношению к сексуальности как победившее племя или слой народа, эксплуатирующий других — побежденных. Страх перед восстанием угнетенных требует применения самых строгих мер предосторожности. Наивысшая точка такого рода развития достигнута в нашей западноевропейской культуре. Психологически, вполне оправдано, что эта культура берется наказывать проявления детской сексуальной жизни, так как без такой предварительной обработки еще в детстве не будет надежд на укрощение сексуальных, вожделений у взрослых. Но никоим образом нельзя оправдать культурное общество, когда оно заходит так далеко, что, несмотря на легкую доказуемость и очевидность, отрицает и само наличие явления. Для индивида выбор объекта, достигшего половой зрелости, ограничивается партнером противоположного пола, а все внегенитальные удовлетворения запрещаются, как извращения. Закрывающееся в этих запретах требование одинаковых для всех форм сексуальной жизни, не считаясь с различиями в природной и приобретенной сексуальной конституции людей, лишает большое их количество сексуального наслаждения и тем самым становится источником жестокой несправедливости. Успех этих ограничительных мероприятий может заключаться только в том, что сексуальные интересы нормальных людей, тех, кому их конституция не служит помехой, направляются без ущерба в допущенное русло. Но и то, что остается в этой сфере без осуждения,— гетеросексуальная половая любовь,— подвергается дальнейшим ограничениям законом и институцией единобрачия. Современная культура дает ясно понять, что она разрешает сексуальные отношения только на базе одной, единственной и нерасторжимой связи между мужчиной и женщиной, что она не признает сексуальности как самостоятельного источника наслаждения и склонна терпеть его только в качестве незаменимого способа размножения людей. Это, конечно, крайнее положение. Как известно, оно оказалось нереализуемым даже на короткий срок. Только люди слабого характера покорились столь далеко идущему вторжению в сферу их сексуальной свободы, более же сильные натуры — только на некоторых компенсирующих условиях, о которых речь будет впереди. Культурное общество сочло себя вынужденным молча допускать некоторые нарушения, которые, согласно установленным правилам, должны были бы им преследоваться. Но с другой стороны, не следует вводить себя в заблуждение и считать, что такая позиция культуры вообще безобидна, так как она не достигает реализации всех своих намерений. Сексуальная жизнь культурных людей все же сильно искалечена и производит впечатление столь же деградирующей функции, как наша челюсть или волосы на голове. Можно, вероятно, с правом утверждать, что сексуальная жизнь, как источник ощущения счастья, т. е. как средство достижения нашей жизненной цели, чувствительно ослаблена \*. Иногда может создаться впечатление, что дело заключается не только в давлении культуры, что, быть может, и в самой природе этой функции есть нечто, отказывающее нам в возможности полного

удовлетворения и толкающее нас на иные пути. Такой взгляд может быть и ошибочным, решить этот вопрос трудно...

*Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Избранное. Лондон, 1969. С. 280 – 295.*

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 2. – М.: Политиздат, 1991. – С. 285 – 295.

Если долгое время живешь внутри какой-то определенной культуры и неоднократно принимаешься исследовать, какими были ее истоки и путь развития, то рано или поздно чувствуешь искушение обратить взор в другом направлении и поставить вопрос, какая дальнейшая судьба предстоит этой культуре и через какие перемены ей назначено пройти. Вскоре замечаешь, однако, что подобное разыскание с самого начала оказывается во многих отношениях ущербным. Прежде всего потому, что лишь немногие люди способны обозреть человеческую деятельность во всех ее разветвлениях. Большинство поневоле вынуждено ограничиться одной, отдельно взятой, или несколькими областями; а чем меньше человек знает о прошлом и настоящем, тем ненадежнее по необходимости окажется его суждение о будущем. Во-вторых, потому, что как раз в такого рода суждении субъективные упования индивида играют роль, которую трудно переоценить; упования же эти неизбежно зависят от чисто личных моментов его собственного опыта, от большей или меньшей оптимистичности жизненной установки, которая диктуется ему темпераментом, успехом или неуспехом его усилий. Наконец, дает о себе знать то примечательное обстоятельство, что люди в общем и целом переживают свою современность как бы наивно, не отдавая должное ее глубинному содержанию: они должны сперва неким образом взглянуть на нее со стороны; то есть современность должна превратиться в прошлое, чтобы мы смогли опереться на нее в своем суждении о будущем.

Человек, поддавшийся искушению предложить от своего имени какое-то предсказание о вероятном будущем, поступит поэтому благоразумно, если будет помнить о вышеназванных помехах, равно как и о ненадежности, присущей вообще всяким пророчествам. Лично меня все это заставляет поспешно уклониться от слишком обширной задачи и сразу заняться небольшой частной областью, которая к тому же и прежде привлекала мое внимание. Сперва мне, правда, придется как-то определить ее место внутри всеобъемлющего целого.

Человеческая культура — я имею в виду все то, в чем человеческая жизнь возвысилась над своими биологическими обстоятельствами и чем она отличается от жизни животных, причем я пренебрегаю различием между культурой и цивилизацией,— обнаруживает перед наблюдателем, как известно, две стороны. Она охватывает, во-первых, все накопленные людьми знания и умения, позволяющие им овладеть силами природы и взять у нее блага для удовлетворения человеческих потребностей, а во-вторых, все институты, необходимые для упорядочения человеческих взаимоотношений и особенно — для дележа добываемых благ. Оба эти направления культуры

связаны между собой, во-первых, поскольку на взаимоотношения людей оказывает глубокое влияние мера удовлетворения влечений, дозволяемая наличными благами, во-вторых, поскольку отдельный человек сам может вступать в отношения с другим по поводу того или иного блага, когда другой использует его рабочую силу или делает его сексуальным объектом, а в-третьих, поскольку каждый отдельный индивид виртуально является врагом культуры, которая тем не менее должна оставаться делом всего человеческого коллектива. Примечательно, что, как бы мало ни были способны люди к изолированному существованию, они тем не менее ощущают жертвы, требуемые от них культурой ради возможности совместной жизни, как гнетущий груз. Культура должна поэтому защищать себя от одиночек, и ее институты, учреждения и заповеди ставят себя на службу этой задаче; они имеют целью не только обеспечить известное распределение благ, но и постоянно поддерживать его, словом, должны защищать от враждебных побуждений людей все то, что служит покорению природы и производству благ. Создания человека легко разрушима, а наука и техника, построенные им, могут быть применены и для его уничтожения.

Так создается впечатление, что культура есть нечто навязанное противящемуся большинству меньшинством, которое ухитрилось завладеть средствами власти и насилия. Естественно, напрашивается предположение, что все проблемы коренятся не в самом существе культуры, а вызваны несовершенством ее форм, как они складывались до сего дня. Нетрудно обнаружить эти ее недостатки. Если в деле покорения природы человечество шло путем постоянного прогресса и вправе ожидать еще большего в будущем, то трудно констатировать аналогичный прогресс в деле упорядочения человеческих взаимоотношений, и, наверное, во все эпохи, как опять же и теперь, многие люди задавались вопросом, заслуживает ли вообще защиты эта часть приобретений культуры. Хочется думать, что должно же быть возможным какое-то переупорядочение человеческого общества, после которого иссякнут источники неудовлетворенности культурой, культура откажется от принуждения и от подавления влечений, так что люди без тягот душевного раздора смогут отдаться добыванию благ и наслаждению ими. Это был бы золотой век, спрашивается только, достижимо ли подобное состояние. Похоже, скорее, что всякая культура вынуждена строиться на принуждении и запрете влечений; неизвестно еще даже, будет ли после отмены принуждения большинство человеческих индивидов готово поддерживать ту интенсивность труда, которая необходима для получения прироста жизненных благ. Надо, по-моему, считаться с тем фактом, что у всех людей имеют место деструктивные, то есть антиобщественные и антикультурные, тенденции и что у большого числа лиц они достаточно сильны, чтобы определить собою их поведение в человеческом обществе.

Этому психологическому факту принадлежит определяющее значение при оценке человеческой культуры. Если вначале еще можно было думать, что главное в ней — это покорение природы ради получения жизненных благ и что грозящие ей опасности устранимы целесообразным распределением

благ среди людей, то теперь центр тяжести переместился, по-видимому, с материального на душевное. Решающим оказывается, удастся ли и насколько удастся уменьшить тяжесть налагаемой на людей обязанности жертвовать своими влечениями, примирить их с неизбежным минимумом такой жертвы и чем-то ее компенсировать. Как нельзя обойтись без принуждения к культурной работе, так же нельзя обойтись и без господства меньшинства над массами, потому что массы косны и недалновидны, они не любят отказываться от влечений, не слушают аргументов в пользу неизбежности такого отказа, и индивидуальные представители массы поощряют друг в друге вседозволенность и распушенность. Лишь благодаря влиянию образцовых индивидов, признаваемых ими в качестве своих вождей, они дают склонить себя к напряженному труду и самоотречению, от чего зависит существование культуры. Все это хорошо, или вождями становятся личности с незаурядным пониманием жизненной необходимости, сумевшие добиться господства над собственными влечениями. Но для них существует опасность, что, не желая утрачивать своего влияния, они начнут уступать массе. Польше, чем та им, и потому представляется необходимым, чтобы они были независимым от массы как распорядители средств власти. Короче говоря, люди обладают двумя распространенными свойствами, ответственными за то, что институты культуры могут поддерживаться лишь известной мерой насилия, а именно люди, во-первых, не имеют спонтанной любви к труду и, во-вторых, доводы разума бессильны против их страстей.

Я знаю, что можно возразить против этих соображений. Мне скажут, что обрисованные здесь черты человеческой массы, признанные доказывать неизбежность принуждения для культурной деятельности, сами лишь следствие ущербности культурных институтов, по вине которых люди стали злыми, мстительными, замкнутыми. Новые поколения, воспитанные с любовью и приученные высоко ценить мысль, заблаговременно приобщенные к благодеяниям культуры, по-иному и отнесутся к ней, увидят в ней свое интимнейшее достояние, добровольно принесут ей жертвы, трудясь и отказываясь от удовлетворения своих влечений необходимым для ее поддержания образом. Они смогут обойтись без принуждения и будут мало чем отличаться от своих вождей. А если ни одна культура до сих пор не располагала человеческими массами такого качества, то причина здесь в том, что ни одной культуре пока еще не удавалось создать порядок, при котором человек формировался бы в нужном направлении, причем с самого детства.

Можно сомневаться, мыслимо ли вообще или по крайней мере сейчас, при современном состоянии овладения природой, достичь подобной реорганизации культуры; можно спросить, где взять достаточное число компетентных, надежных и бескорыстных вождей, призванных выступить в качестве воспитателей будущих поколений; можно испугаться чудовищных размеров принуждения, которое неизбежно потребуется для проведения этих намерений в жизнь. Невозможно оспаривать величие этого плана, его значимость для будущего человеческой культуры. Он, несомненно, покоится на понимании того психологического обстоятельства, что человек наделен

многообразнейшими задатками влечений, которым ранние детские переживания придают окончательную направленность. Пределы человеческой воспитуемости ставят, однако, границы действительности подобного преобразования культуры. Можно только гадать, погасит ли и в какой мере иная культурная среда оба вышеназванных свойства человеческих масс, так сильно затрудняющих руководство обществом. Соответствующий эксперимент еще не осуществлен. По всей вероятности, определенный процент человечества — из-за болезненных задатков или чрезмерной силы влечений — навсегда останется асоциальным, но если бы удалось сегодняшнее враждебное культуре большинство превратить в меньшинство, то было бы достигнуто очень многое, пожалуй, даже все, чего можно достичь...

Мера интериоризации предписаний культуры — популярно и ненаучно выражаясь, нравственный уровень ее участников, — не единственное духовное благо, которое надо принимать в расчет при оценке культуры. У нее есть и другое богатство — идеалы и творения искусства, то есть виды удовлетворения, доставляемые теми и другими.

Мы слишком склонны причислять идеалы той или иной культуры — то есть ее оценку того, что следует считать высшим и наиболее престижным достижением — к ее психологическому достоянию. При первом приближении кажется, будто этими идеалами определяются успехи культуры; реальная зависимость может быть, однако, иной: идеалы формируются после первых успехов, которым способствует взаимодействие внутренних задатков с внешними обстоятельствами, и эти первые успехи фиксируются в идеале, зовущем к их повторению. Удовлетворение, которое идеал дарит участникам культуры, имеет тем самым нарциссическую природу, оно покоится на гордости от уже достигнутых успехов. Для своей полноты оно требует сравнения с другими культурами, ринувшимися к другим достижениям и сформировавшим другие идеалы. В силу таких различий каждая культура присваивает себе право презирать другие. Таким путем культурные идеалы становятся поводом к размежеванию и вражде между различными культурными регионами, что всего отчетливее наблюдаются между нациями.

Нарциссическое самодовольство собственным идеалом тоже относится к тем силам, которые успешно противодействуют внутри данного культурного региона разрушительным настроениям. Не только привилегированные классы, наслаждающиеся благодеяниями своей культуры, но и угнетенные могут приобщаться к этому удовлетворению, поскольку даруемое идеалом право презирать чужаков вознаграждает их за униженность в своем собственном обществе. Пусть я жалкий, задавленный долгами и воинской повинностью плебей, но зато я римлянин, имею свою долю в общей задаче покорять другие народы и предписывать им законы. Такая идентификация угнетенных с классом своих правителей и эксплуататоров есть опять же лишь частичка более широкой картины. С другой стороны, угнетаемые могут быть аффективно привязаны к угнетателям, видеть в своих господах, вопреки всей враждебности, воплощение собственных идеалов. Не сложись между ними

таких, в сущности, взаимно удовлетворяющих отношений, оставалось бы непонятным, почему столь многие культуры, несмотря на оправданную враждебность к ним больших человеческих масс, продержались столь долгое время.

Другого рода удовлетворение доставляет представителям того или иного культурного региона искусство, правда, как правило, не доступное массам, занятым изнурительным трудом и не получившим индивидуального воспитания. Искусство, как мы давно уже убедились, дает эрзац удовлетворения, компенсирующий древнейшие, до сих пор глубочайшим образом переживаемые культурные запреты, и тем самым как ничто другое примиряет с принесенными им жертвами. Кроме того, художественные создания, давая повод к совместному переживанию высоко ценимых ощущений, вызывают чувства идентификации, в которых так остро нуждается всякий культурный круг; служат они также и нарциссическому удовлетворению, когда изображают достижения данной культуры, впечатляющим образом напоминая о ее идеалах.

*Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.-П. Сумерки богов. М., 1989. С. 94 – 98, 101 – 103.*

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 2. – М.: Политиздат, 1991. – С. 307 – 314.

#### Н. БЕРДЯЕВ

...Различение культуры и цивилизации стало популярным со времени Шпенглера, но оно не есть его изобретение. Терминология тут условна. Французы, например, предпочитают слово цивилизация, понимая под этим культуру, немцы предпочитают слово культура. Русские раньше употребляли слово цивилизация, а с начала XX века отдали предпочтение слову культура.. Но славянофилы<sup>6</sup>, К. Леонтьев, Достоевский и др. уже отлично понимали различие между культурой и цивилизацией. Ошибка Шпенглера заключалась в том, что он придал чисто хронологический смысл словам цивилизация и культура и увидел в них смену эпох. Между тем как всегда будут существовать культура и цивилизация и в известном смысле цивилизация старше и первичнее культуры, культура образуется позже. Изобретение технических орудий, самых элементарных орудий примитивными людьми есть цивилизация, как цивилизация есть всякий социализирующий процесс. Латинское слово цивилизация указывает на социальный характер указываемого этим словом процесса. Цивилизацией нужно обозначать более социально-коллективный процесс, культурой же — процесс более индивидуальный и идущий вглубь. Мы, например, говорим, что у этого человека есть высокая культура, но не можем сказать, что у этого человека очень высокая цивилизация. Мы говорим духовная культура, но не говорим духовная цивилизация. Цивилизация означает большую степень объективации и социализации, культура же более связана с личностью и пухом. Культура означает обработку материала актом духа, победы формы над материей. Она более связана с творческим актом человека. Хотя различие

тут относительное, как и все установленные классификацией различия. Эпохой цивилизации по преимуществу можно назвать такую эпоху, в которой преобладающее значение получают массы и техника. Это обыкновенно говорят о нашей эпохе. Но и в эпоху цивилизации существует культура, как и в эпоху культуры существует цивилизация. Техника, охватывающая всю жизнь, действует разрушительно на культуру, обезличивает ее. Но всегда в такую эпоху есть элементы, которые восстают против победного шествия технической цивилизации. Такова роль романтиков. Существуют гениальные творцы культуры. Но культурная среда, культурная традиция, культурная атмосфера также основана на подражательности, как и цивилизация. Очень культурный человек известного стиля обычно высказывает обо всем мнения подражательные, средние, групповые, хотя бы эта подражательность сложилась в культурной элите, в очень подобранной группе. Культурный стиль всегда включает в себе подражательность, усвоение традиции, он может быть социально оригинальным в своего появления, но он индивидуально не оригинален. Гений никогда не мог вполне вписаться в культуру и культура всегда стремилась превратить гения из дикого животного в животное домашнее. Социализации подлежит не только варвар, но и творческий гений. Творческий акт, в котором есть дикость и варварство, объективируется и превращается в культуру. Культура занимает среднюю зону между природой и техникой и она часто бывает раздавлена между этими двумя силами. Но в мире объективированном никогда не бывает цельности и гармонии. Существует вечный конфликт между ценностями культуры и ценностями государства и общества. В сущности государство и общество всегда стремились к тоталитарности, делали заказы творцам культуры и требовали от них услуг. Творцы культуры всегда с трудом защищали свою свободу, но им легче это было делать при меньшей унификации общества, в обществе более дифференцированном. Ценности низшего порядка, например государство, всегда стремились подчинить и поработить себе ценности высшего порядка, например ценности духовной жизни, познания, искусства. М. Шелер пытался установить градации ценностей: ценности благородства выше, чем ценности приятного, ценности духовные выше ценностей витальных, ценности святости выше духовных ценностей. Но совершенно несомненно, что ценности святости и ценности духовные имеют гораздо меньше силы, чем ценности приятного или ценности витальные, которые очень деспотичны. Такова структура объективированного мира. Очень важно определить соотношение между аристократическими и демократическими началами в культуре.

Культура основана на аристократическом принципе, на принципе качественного отбора. Творчество культуры во всех сферах стремится к совершенству, к достижению высшего качества. Так в познании, так в искусстве, так в выработке душевного благородства и культуре человеческих чувств. Истина, красота, правда, любовь не зависят от количества, это качества. Аристократический принцип отбора образует культурную элиту,

духовную аристократию. Но культурная элита не может оставаться замкнутой в себе, изолированной, самоутверждающейся под страхом удаления от истоков жизни, иссякания творчества, вырождения и умирания. Всякий групповой аристократизм неизбежно вырождается и иссыхает. Как не может творчество культурных ценностей сразу быть распространено на бескачественную массу человечества, также не может не происходить процесса демократизации культуры. Истина аристократична в том смысле, что она есть достижение качества и совершенства в познании, независимо от количества, от мнения и требования человеческих количеств. Но это совсем не значит, что истина существует для избранного меньшинства, для аристократической группы, истина существует для всего человечества и все люди призваны быть приобщенными к ней. Нет ничего противнее гордости и презрительности замкнутой элиты. Великие гении никогда не были такими. Можно даже сказать, что образование касты культурно утонченных, усложненных людей, теряющих связь с широтой и глубиной жизненного процесса, есть ложное образование. Одиночество почитающих себя принадлежащими к культурной элите есть ложное одиночество, это есть все-таки стадное одиночество, хотя бы стадо было малой группой, это не есть одиночество пророков и гениев. Гений близок к первореальности, к подлинному существованию, культурная же элита подчинена законам объективации и социализации. Это в ней вырабатывается культуropоклонство, которое есть одна из форм идолопоклонства и рабства человека. Подлинный духовный аристократизм связан с сознанием служения, а не с сознанием своей привилегированности. Подлинный аристократизм есть не что иное, как достижение духовной свободы, независимости от окружающего мира, от человеческого количества, в какой бы форме оно ни явилось, как слушание внутреннего голоса, голоса Бога и голоса совести. Аристократизм есть явление личности, не согласной на смешение, на конформизм, на рабство у бескачественного мира. Но человеческий мир полон не этого аристократизма, а аристократизма изоляции, замкнутости, гордости, презрения, высокомерного отношения к стоящим ниже, то есть ложного аристократизма, аристократизма кастового, порожденного социальным процессом. Можно было бы установить различие между ценностями демократическими и ценностями аристократическими внутри культуры. Так ценности религиозные и ценности социальные должны быть признаны демократическими, ценности же, связанные с философией, искусством, мистикой, культурой эмоций, должны быть признаны аристократическими. У Тарда есть интересные мысли о разговоре как форме общения. Разговор есть порождение высокой культуры. Можно различать разговор ритуальный, условный, утилитарный и разговор интеллектуальный, бесполезный, искренний. Именно второй тип разговора и есть показатель высокой культуры. Но трагедия культуры в том, что всякая высокая качественная культура не имеет перед собой перспективы бесконечного развития. Цветение культуры сменяется упадком. Образование культурной традиции означает высокую культуру, при этом являются не только творцы культуры, но и культурная

среда. Слишком же затверделые и закрепленные традиции культуры означают ослабление культурного творчества. Культура всегда кончается декадансом, в этом ее рок. Объективация творчества означает охлаждение творческого огня. Эгоцентризм и изоляция культурной элиты, которая делается более потребительской, чем творческой, ведет к подмене жизни литературой. Образуется искусственная атмосфера литературы, в которой люди ведут призрачное существование. Культурные люди становятся рабами литературы, рабами последних слов в искусстве. При этом эстетические суждения бывают не личными, а элитски-групповыми.

Культура и культурные ценности создаются творческим актом человека, в этом обнаруживается гениальная природа человека. Огромные дары вложил человек в культуру. Но тут же обнаруживается и трагедия человеческого творчества. Есть несоответствие между творческим актом, творческим замыслом и творческим продуктом. Творчество есть огонь, культура же есть уже охлаждение огня. Творческий акт есть взлет, победа над тяжестью объективированного мира, над детерминизмом, продукт творчества в культуре есть уже притяжение вниз, оседание. Творческий акт, творческий огонь находится в царстве субъективности, продукт же культуры находится в царстве объективности. В культуре происходит как бы все то же отчуждение, экстерниоризация человеческой природы. Вот почему человек попадает в рабство у культурных продуктов и ценностей. Культура сама по себе не есть преобразование жизни и явление нового человека. Оно означает возврат творчества человека назад, к тому объективированному миру, из которого он хотел вырваться. Но этот объективированный мир оказывается обогащенным. Впрочем, творчество великих гениев всегда было прорывом за грани объективированного, детерминированного мира, и это отразилось на продуктах их творчества. Это тема великой русской литературы XIX века, которая всегда выходила за грани литературы и искусства. Это тема всех философов экзистенциального типа, начиная с бл. Августина. Это тема и вечной распри классицизма и романтизма, которая идет в глубь веков. Классицизм и есть не что иное, как утверждение возможности достижения совершенства творческого продукта в объективированном мире при совершенной экстерниоризации этого продукта от самого творца. Классицизм не интересуется экзистенциальностью творца и не хочет видеть выражений этой экзистенциальности в творческом продукте. Поэтому классицизм требует конечности в оформлении продукта творчества, видит в конечном признак совершенства и боится бесконечности, которая раскрывается в экзистенциальной сфере и не может быть выражена в объективированной сфере как совершенство формы. Чистого классицизма никогда не существовало, величайшие творцы никогда не бывали чистыми классиками. Можно ли сказать, что греческая трагедия, диалоги Платона, Данте, Сервантес, Шекспир, Гёте, Лев Толстой и Достоевский, Микеланджело, Рембрандт, Бетховен принадлежат к чисто классическому типу? Конечно, нет. Романтизм верит в возможность достижения совершенства творческого продукта в объективированном мире, он

устремлен к бесконечности и хочет это выразить, он погружен в мир субъективности и более дорожит самым экзистенциальным творческим подъемом, творческим вдохновением, чем объективным продуктом. Чистого романтизма также никогда не существовало, но дух романтизма шире романтической школы в собственном смысле слова. В романтизме есть много дурного и бессильного, но вечная правда романтизма — в этой раненности неправдой объективации, в сознании несоответствия между творческим вдохновением и творческим продуктом. Необходимо яснее понять, что значит объективация творчества в ценностях культуры и в каком смысле нужно восставать против нее. Тут возможно большое недоразумение. Творческий акт есть не только движение вверх, но и движение к другому, к миру, к людям. Философ не может не выражать себя в книгах, ученый в опубликованных исследованиях, поэт в стихах, музыкант в симфониях, художник в картинах, социальный реформатор в социальных реформах. Творческий акт не может быть задушен внутри творца, не находя себе никакого выхода. Но совершенно неверно отождествлять реализацию творческого акта с объективацией. Объективированный мир есть лишь состояние мира, в котором приходится жить творцу. И всякое выражение творческого акта вовне попадает во власть этого мира. Важно сознать трагическую ситуацию творца и порожденную им трагедию творчества. Борьба против рабства у объективированного мира, против охлаждения творческого опыта в продуктах творчества заключается совсем не в том, что творец перестает выражать себя и реализовать себя в своих творениях, это было бы нелепое требование — борьба эта заключается в максимальном прорыве замкнутого круга объективации через творческий акт, в максимальной экзистенциальности творений творца, во вторжении максимальной субъективности в объективность мира. Смысл творчества в упреждении преобразений мира, а не закреплении этого мира в объективном совершенстве. Творчество есть борьба против объективности мира, борьба против материи и необходимости. Эта борьба отражается в величайших явлениях культуры. Но культура хочет оставить человека в этом мире, она прельщает человека своими ценностями и своими достижениями имманентного совершенства. Творческий же огонь, возгоревшийся за фасадом культуры, был трансцендированием, но трансцендированием пресеченным. И вся проблема в том, как с пути объективации перейти на путь трансцендирования. Цивилизация и культура творятся человеком и порабащают человека, порабащают высшим, а не низшим.

Нелепо было бы просто отрицать культуру и особенно призывать к состоянию докультурному, как нелепо просто отрицать общество и историю, но важно понять противоречия культуры и неизбежность высшего суда над ней, как и над обществом и историей. Это не аскетическое отношение к культуре и творчеству, а отношение эсхатологическое, я бы сказал революционно-эсхатологическое. Но еще в пределах самой культуры возможны творческие прорывы и преобразования, возможна победа музыки, величайшего из искусств, музыки и в мысли и в познании. Еще в самом

обществе возможны прорывы к свободе и любви, еще в мире объективации возможно трансцендирование, еще в истории возможно вторжение метаистории, еще во времени возможны достижения мгновений вечности. Но в массовых процессах истории, в остывших и кристаллизованных традициях культуры, в формировавшихся организациях общества побеждает объективация и человек прельщается рабством, которого не сознает и которое переживает как сладость. Человек поработан нормами наук и искусств. Академизм был орудием этого поработания. Это есть систематическое, организованное угашение творческого огня, требование, чтобы творческая личность была вполне подчинена социальной группе. Требование «объективности» вовсе не есть требование истины, а социализация, подчинение среднему человеку, обыденности. Человек поработан разуму цивилизации. Но этот разум не есть божественный Логос, это разум средненормального, социализированного сознания, которое приспособляется к среднему духовному уровню и к низшей ступени духовной общности людей. Так подавляется целостная личность и не дается хода ее сверхрациональным силам. Так же поработает человека добро цивилизации, добро, превращенное в закон и социализированное, обслуживающее социальную обыденность. Человек попадает в рабство к идеальным культурным ценностям. Человек превращает в идолы науку, искусства, все качества культуры, и это делает его рабом. Сиентизм, эстетизм, снобизм культурности — сколько форм человеческого рабства. За идеальными ценностями в свое время стояли пророки и гении, творческое вдохновение и горение. Но когда пророкам и гениям поставлены памятники и их именами названы улицы, образуется охлажденная срединная культура, которая уже не терпит нового пророчества и новой гениальности. Всегда образуется законничество и фарисейство культуры и всегда неизбежно восстание профетического духа. Культура — великое благо, путь человека, и нельзя позволять варварам ее отрицать. Но над культурой неизбежен высший суд, есть апокалипсис культуры. Культура, как и вся земля, должна быть преображена в новую жизнь, она не может бесконечно длиться в своей срединности, в своей законнической охлажденности. Об этом будет речь в последней главе. Есть ложь, к которой принуждает цивилизация и культура. Пулен верно говорит, что эта ложь есть систематизированный, прикровенный раздор. На поверхности же царит единство. Лжи необходимо противопоставлять правду, хотя бы эта правда казалась опасной и разрушительной. Правда всегда опасна. Ложь накапливается потому, что цели подменяются средствами. И так давно средства превратились в цель, что до целей уже добраться невозможно. Цивилизация возникла как средство, но была превращена в цель, деспотически управляющую человеком. Культура со всеми своими ценностями есть средство для духовной жизни, для духовного восхождения человека, но она превратилась в самоцель, подавляющую творческую свободу человека. Это есть неотвратимый результат объективации, которая всегда разрывает средства и цели. Актуализм цивилизации требует от человека всевозрастающей

активности, но этим требованием он порабощает человека, превращая его в механизм. Человек делается средством нечеловеческого актуального процесса, технического и индустриального. Результат этого актуализма совсем не для человека, человек для этого результата. Духовная реакция против этого актуализма есть требование права на созерцание. Созерцание есть передышка, обретение мгновения, в котором человек выходит из порабощенности потоком времени. В старой культуре бескорыстное созерцание играло огромную роль. Но исключительная культура созерцания может быть пассивностью человека, отрицанием активной роли в мире. Поэтому необходимо соединение созерцания и активности. Самое же главное, что человек и в отношении к культуре и в отношении к технике должен быть господином, а не рабом. Когда же провозглашается принцип силы и сила ставится выше правды и выше ценности, то это означает конец и смерть цивилизации. И тогда нужно ждать новых могущественных верований, захватывающих человека, и нового духовного подъема, который победит грубую силу.

*Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. Париж. 1939. С. 103—110*

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 2. – М.: Политиздат, 1991. – С. 307 – 313.

Человек есть историческое существо, он призван реализовать себя в истории, история — его судьба. Он не только принужден жить в истории, но и творить в истории. В истории, объективирует человек свое творчество. Дух в истории есть объективный дух. Но именно потому, что в истории объективируются результаты творческих актов человека, в ней никогда не достигается то, что хотел бы человек в своих замыслах. История в своей объективации совершенно равнодушна к человеческой личности, она не более жестока к ней, чем природа, и она никогда не признает человеческой личности верховной ценностью, ибо такое признание означало бы срыв и конец истории. И вместе с тем, человек не может отказаться от истории, не обеднев и не урезав себя, она есть его путь и судьба. Но человек не должен никогда идолопоклонствовать перед историей и историческую необходимость считать источником своих оценок. Человек призван творить культуру, культура также есть его путь и судьба, он реализует себя через культуру. Обреченный на историческое существование, он тем самым обречен на созидание культуры. Человек – существо творческое, творит ценности культуры. Культура поднимает человека из варварского состояния. Но в культуре объективируется человеческое творчество. Культура может быть определена как объективация человеческого творчества. Классическая культура есть совершенная объективация. Дух в культуре, религии, морали, науке, искусстве, праве есть объективный дух. В объективации культуры охлаждается огонь творчества, творческий взлет вверх протягивается вниз, подчиняется закону. И не наступает преобразования мира. Объективированная культура со своими высокими ценностями так же равнодушна и жестока к человеческой личности, так же невнимательна к внутреннему существованию, как и история, как и весь

объективированный мир. И потому для культуры наступит страшный суд, не внешний, а внутренний, совершаемый ее творцами. Идолопоклонство перед культурой так же недопустимо, как ее варварское отрицание. Необходимо принять и изжить этот трагический конфликт, эту неразрешимую в нашем мире антиномию. Нужно принять историю, принять культуру, принять и этот ужасный, мучительный, падший мир. Но не объективации принадлежит последнее слово, последнее слово звучит из иного порядка бытия. И мир объективный угаснет, угаснет в вечности, в вечности, обогащенной пережитой трагедией.

*Бердяев Н. И мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. Париж. С. 184—186*

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 2. – М.: Политиздат, 1991. – С. 314.

### Ж- Ж. РУССО

Как и тело, дух имеет свои потребности. Телесные потребности являются основой общества, а духовные его украшают. В то время как правительство и законы охраняют общественную безопасность и благосостояние сограждан, науки, литература и искусства — менее деспотичные, но, быть может, более могущественные — обвивают гирляндами цветов оковывающие людей железные цепи, заглушают в них естественное чувство свободы, для которой они, казалось бы, рождены, заставляют их любить свое рабство и создают так называемые цивилизованные народы. Необходимость воздвигла троны, науки и искусства их утвердили. Сильные мира сего, любите таланты и покровительствуйте их обладателям!

Цивилизованные народы, лелейте их. Счастливые рабы, вы им обязаны изысканным и изощренным вкусом, которым вы гордитесь, мягкостью характера и обходительностью нравов, способствующими более тесному и легкому общению, словом, всеми внешними признаками добродетелей, которых у вас нет...

Наши души развращались, по мере того как совершенствовались науки и искусства. Быть может, мне скажут, что это — несчастье, присущее только нашей эпохе? Нет, милостивые государи, зло, причиняемое нашим суетным любопытством, старо, как мир. Приливы и отливы воды в океане не строже подчинены движению ночного светила, чем судьба нравов и добропорядочности — успехам наук и искусств. По мере того как они озаряют наш небосклон, исчезает добродетель, и это явление наблюдается во все времена и во всех странах.

Взгляните на Египет, эту первую школу Вселенной... В этой стране родились философия и изящные искусства, и вскоре после этого она была завоевана...

Посмотрите на Грецию, когда-то населенную героями... Нарождающаяся письменность еще не внесла порчи в сердца обитателей этой страны, но вскоре за нею последовали успехи искусств, разложение нравов, македонское иго, и Греция — всегда ученая, всегда изнеженная и всегда порабощенная —

отныне стала только менять своих повелителей. Все красноречие Демосфена не в состоянии было вдохнуть свежие силы в общество, расслабленное роскошью и искусством...

Вот каким образом роскошь, развращенность и рабство во все времена становились возмездием за наше надменное стремление выйти из счастливого невежества, на которое нас обрекла вечная Мудрость. Казалось бы, густая завеса, за которую она скрыла от нас все свои пути, должна была бы указать нам на то, что мы не предназначены для пустых изысканий. Но есть ли хоть один ее урок, которым мы сумели бы воспользоваться, и хоть один урок, которым мы пренебрегли безнаказанно? Народы! Знайте раз навсегда, что природа хотела оберечь вас от наук, подобно тому как мать вырывает из рук своего ребенка опасное оружие. Все скрываемые ею от вас тайны являются злом, от которого она вас охраняет, и трудность изучения составляет одно из немалых ее благодеяний. Люди испорчены, но они были бы еще хуже, если бы имели несчастье родиться учеными.

*Руссо Ж. Ж. Рассуждения о науках и искусствах II Избранные сочинения: В 3 т. М., 1961. Т. 1. С. 44—45. 47—48, 52*

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 2. — М.: Политиздат, 1991. — С. 322 — 323.

#### А. ШОПЕНГАУЭР

Но какого же рода познание рассматривает то, что существует вне и независимо от всяких отношений, единственную действительную сущность мира, истинное содержание его явлений, не подверженное никакому изменению и поэтому во все времена познаваемое с одинаковой истинностью,— словом, *идеи*, которые представляют собой непосредственную и адекватную объектность вещи в себе, воли? Это — *искусство*, создание гения. Оно воспроизводит постигнутые чистым созерцанием вечные идеи, существенное и постоянное во всех явлениях мира, и, смотря по тому, каков материал, и котором оно их воспроизводит, оно — изобразительное искусство, поэзия или музыка. Его единственный источник — познание идей; его единственная цель — передать это познание. В то время как наука, следуя за непрерывным и изменчивым потоком четверояких оснований и следствий, после каждой достигнутой цели направляется все дальше и дальше и никогда не может обрести конечной цели, полного удовлетворения, как нельзя в беге достигнуть того пункта, где облака касаются горизонта, искусство, напротив, всегда находится у цели. Ибо оно вырывает объект своего созерцания из мирового потока и ставит его изолированно перед собой: и это отдельное явление, которое в жизненном потоке было исчезающей малой частицей, делается для искусства представителем целого, эквивалентом бесконечно многого в пространстве и времени; оттого искусство и останавливается на этой частности: оно задерживает колесо времени, отношения исчезают перед ним, только существенное, идея — вот его объект...

Идеи постигаются только путем описанного выше чистого созерцания, которое совершенно растворяется в объекте, и сущность *гения* состоит

именно в преобладающей способности к такому созерцанию; и так как последнее требует совершенного забвения собственной личности и ее интересов, то *гениальность* не что иное, как полная *объективность*, т.е. объективное направление духа в противоположность субъективному, которое обращено к собственной личности, т. е. воле. Поэтому *гениальность* — это способность пребывать в чистом созерцании, теряться в нем и освобождать познание, сначала существующее только для служения воле, — освобождать его от этой службы, т. е. совершенное упускать из виду свои интересы, свои желанья и цели, на время вполне совлекать с себя свою личность, для того чтобы остаться только *чистым познающим субъектом*, — светлым оком мира, и это не на мгновения, а с таким постоянством и с такой обдуманностью, какие необходимы, чтобы постигнутое воспроизвести сознательным искусством, и «то, что предносится в зыбком явлении, в устойчивой мысли навек закрепить»...

Обыкновенный человек, этот фабричный товар природы, какой она ежедневно производит тысячами, как я уже сказал, совершенно не способен, по крайней мере на продолжительное и в полном смысле незаинтересованное наблюдение, что составляет истинную созерцательность: он может направлять свое внимание на вещи лишь постольку, поскольку они имеют какое-нибудь, хотя бы и очень косвенное, отношение к его воле. Так как для этого требуется только познание отношений и достаточно абстрактного понятия вещи (а по большей части оно даже пригоднее всего), то обыкновенный человек не останавливается долго на чистом созерцании, не пригвождает надолго своего взора к одному предмету, а для всего, что ему встречается, ищет поскорее понятия, под которое можно было бы это подвести, как ленивый ищет стула, и затем предмет его уже больше не интересует. Вот почему он так скоро исчерпывает все: произведения искусства\*, прекрасные создания природы и везде многозначительное зрелище жизни во всех ее сценах. Но ему некогда останавливаться: только своей дороги в жизни ищет он, в крайнем случае еще и всего того, что может когда-нибудь сделаться его дорогой, т. е. топографических заметок в широком смысле этого слова; на созерцание же самой жизни, как таковой, он не теряет времени. Наоборот, гений, чья познавательная сила в своем избытке на некоторое время освобождается от служения его воле, останавливается на созерцании самой жизни, стремится в каждой вещи постигнуть ее идею, а не ее отношения к другим вещам: вот почему он часто не обращает внимания на свой собственный жизненный путь и потому в большинстве случаев проходит его довольно неискусно...

*Понятие* отвлеченно, дискурсивно, внутри своей сферы совершенно неопределенно, определено только в своих границах, доступно и понятно для каждого, кто только обладает разумом, может быть передаваемо словами без дальнейшего посредничества, вполне исчерпывается своим определением. Напротив, *идея*, которую можно, пожалуй, определить как адекватную представительницу понятия, всецело наглядна и, хотя заступает место бесконечного множества отдельных вещей, безусловно определена:

никогда не познается она индивидуумом, как таковым, а только тем, кто над всяким хотением и всякой индивидуальностью поднялся до чистого субъекта познания: таким образом, она доступна только гению и затем тому, кто в подъеме своей чистой познавательной силы, вызываемом большей частью созданиями гения, сам обрел гениальное настроение духа; поэтому она передаваема не асцело, а лишь условно, ибо постигнутая и в художественном творении воспроизведенная идея действует на каждого только в соответствии с его собственным интеллектуальным достоинством,— вот отчего именно самые прекрасные творения каждого искусства, благороднейшие создания гения для тупого большинства людей навеки остаются книгой за семью печатями и недоступны для него, отделенного от них глубокой пропастью, как недоступно для черни общение с королями...

*Музыка.* Она стоит совершенно особняком от всех других. Мы не видим в ней подражания, воспроизведения какой-либо идеи существ нашего мира; и тем не менее она такое великое и прекрасное искусство, так могуче действует на душу человека и в ней так полно и глубоко им понимается в качестве всеобщего языка, который своею внятностью превосходит даже язык наглядного мира, что мы, несомненно, должны видеть в ней нечто большее, чем *exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare ani-III \**, как определил ее Лейбниц...

Мы должны приписать ей гораздо более серьезное и глубокое значение: оно касается внутренней сущности мира и нашего Я, и этом смысле численные сочетания, на которые может быть сведена музыка, представляют собой не обозначаемое, а только знак. Что она должна относиться к миру в известной мере как изображение к изображаемому, как снимок к оригиналу, это мы можем заключить по аналогии с прочими искусствами, которым всем свойствен этот признак и с действием которых на нас действие музыки, однородно, но только более сильно и быстро, более неизбежно и неотразимо. И ее воспроизведение мира должно быть очень интимным, бесконечно верным и метким, ибо всякий мгновенно понимает ее...

*Шопенгауэр А. Мир как воля и представление II Антология мировой философии: В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 691—693*

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 2. — М.: Политиздат, 1991. — С. 324 — 326.

## А. ШВЕЙЦЕР

Что говорит этика благоговения перед жизнью об отношениях между человеком и творением природы?

Там, где я наношу вред какой-либо жизни, я должен ясно сознавать, насколько это необходимо. Я не должен делать ничего, кроме неизбежного,— даже самого незначительного. Крестьянин, скошивший на лугу тысячу цветков для корма своей корове, не должен ради забавы сминать цветок, растущий на обочине дороги, так как в этом случае он совершит преступление против жизни, не оправданное никакой необходимостью.

Те люди, которые проводят эксперименты над животными, связанные с разработкой новых операций или с применением новых медикаментов, те, которые прививают животным болезни, чтобы использовать затем полученные результаты для лечения людей, никогда не должны вообще успокаивать себя тем, что их жестокие действия преследуют благородные цели. В каждом отдельном случае они должны взвесить, существует ли в действительности необходимость приносить это животное в жертву человечеству. Они должны быть постоянно обеспокоены тем, чтобы ослабить боль, насколько это возможно. Как часто еще кощунствуют в научно-исследовательских институтах, не применяя наркоза, чтобы избавиться себя от лишних хлопот и сэкономить время! Как много делаем мы еще зла, когда подвергаем животных ужасным мукам, чтобы продемонстрировать студентам и без того хорошо известные явления! Именно благодаря тому, что животное, используемое в качестве подопытного, в своей боли стало ценным для страдающего человека, между ним и человеком установилось новое, единственное в своем роде отношение солидарности. Отсюда вытекает для каждого из нас необходимость делать по отношению к любой твари любое возможное добро. Когда я помогаю насекомому выбраться из беды, то этим я лишь пытаюсь уменьшить лежащую на человеке вину по отношению к другому живому существу. Там, где животное принуждается служить человеку, каждый из нас должен заботиться об уменьшении страданий, которые оно испытывает ради человека. Никто из нас не имеет права пройти мимо страданий, за которые мы, собственно, не несем ответственности, и не предотвратить их. Никто не должен успокаивать себя при этом тем, что он якобы вынужден будет вмешаться здесь в дела, которые его не касаются. Никто не должен закрывать глаза и не считаться с теми страданиями, которых он не видел. Никто не должен сам себе облегчать тяжесть ответственности. Если встречается еще дурное обращение с животными, если остается без внимания крик скота, не напоенного во время транспортировки по железной дороге, если на наших бойнях слишком много жестокости, если в наших кухнях неумелые руки предадут мучительной смерти животное, если животные испытывают страдания от безжалостных людей или от жестоких игр детей,— то во всем, этом наша вина.

Мы иногда боимся, что на нас обратят внимание, если мы обнаружим свое волнение при виде страданий, причиняемых человеком животному. При этом мы думаем, что другие были бы «разумнее» в данном случае, и стараемся показать, что то, что причиняло муки, есть обыкновенное и даже само собой разумеющееся явление. Но затем вырывается из уст этих других слово, которое показывает, что они также в душе переживают виденные страдания. Ранее чужие, они становятся нам близкими. Маска, которая вводила нас в заблуждение, спадает. Мы теперь знаем, что не можем пройти мимо той жестокости, которая беспрерывно совершается вокруг нас. О, это тяжкое познание!

Этика благоговения перед жизнью не позволяет нам молчаливо согласиться с тем, что мы уже якобы не переживаем то, что должны

переживать мыслящие люди. Она дает нам силу взаимно поддерживать в этом страдании чувство ответственности и бесстрашно говорить и действовать в согласии с той ответственностью, которую мы чувствуем. Эта этика заставляет нас вместе следить за тем, чтобы отплатить животным за все причиненные им человеком страдания доброй помощью и таким путем избавить их хотя бы на мгновение от непостижимой жестокости жизни.

Этика благоговения перед жизнью заставляет нас почувствовать безгранично великую ответственность и в наших взаимоотношениях с людьми. Она не даст готового рецепта для объема дозволенного самосохранения; она приказывает нам в каждом отдельном случае полемизировать с абсолютной этикой самоотречения. В согласии с ответственностью, которую я чувствую, я должен решить, что я должен пожертвовать от моей жизни, моей собственности, моего права, моего счастья, моего времени, моего покоя и что я должен оставить себе.

В вопросе о собственности этика благоговения перед жизнью высказывается резко индивидуалистически в том смысле, что все приобретенное или унаследованное может быть отдано на службу обществу не в силу какого-либо закона общества, а в силу абсолютно свободного решения индивида. Этика благоговения перед жизнью делает большую ставку на повышение чувства ответственности человека. Собственность она расценивает как имущество общества, находящееся в суверенном управлении индивида. Один человек служит обществу тем, что ведет какое-нибудь дело, которое дает определенному числу служащих средства для жизни. Другой служит обществу тем, что использует свое состояние для помощи людям. В промежутке между этими крайними случаями каждый принимает решение в меру чувства ответственности, определенного ему обстоятельствами его жизни. Никто не должен судить другого. Дело сводится к тому, что каждый сам оценивает все, чем он владеет с точки зрения того, как он намерен распорядиться этим состоянием. В данном случае ничего не значит, будет ли он сохранять и увеличивать свое состояние или откажется от него.

Его состоянием общество может пользоваться различными способами, но надо стремиться к тому, чтобы это давала наилучший результат.

Чаще всего подвергаются опасности быть эгоистичными в использовании своего состояния те люди, которые наименее склонны называть что-либо своей собственностью. Глубокая истина заложена в той притче Иисуса, согласно которой меньше всего верен тот раб, который получил меньше всего.

Но и мое право делает этику благоговения перед жизнью не принадлежащей мне. Она не разрешает мне успокаивать себя тем что я, как более способный, могу продвигаться в жизни дозволенными средствами, но за счет менее способных. То, что мне позволяют закон и мнение людей, она превращает в проблему. Она заставляет меня думать о другом и взвешивать — разрешает ли мне мое внутреннее право собирать все плоды, до которых дотягивается моя рука. Может случиться, что я, повинувшись чувству, предписывающему мне учитывать интересы других людей, совершу поступок,

который обычное мнение сочтет глупостью. Возможно, эта глупость выразится в том, что мой отказ от своих интересов не пойдет на пользу другому. И тем не менее я остался правдив. Благоговение перед жизнью — высшая инстанция. То, что она приказывает, сохраняет свое значение и тогда, когда это кажется глупым или напрасным. Мы всегда обвиняем друг друга в глупостях, которые свидетельствуют о том, что мы глубоко ощущаем свою ответственность. Этическое сознание проявляется в нас и делает разрешимыми ранее неразрешимые проблемы как раз в той степени, в какой мы недостаточно разумно поступаем по оценке обычного мнения.

Благоговение перед жизнью не покровительствует и моему счастью. В те минуты, когда я хотел бы непосредственно радоваться чему-нибудь, оно уносит меня в мыслях к той нищете, которую я когда-то видел или о которой слышал. Оно не разрешает мне просто отогнать эти воспоминания. Как волна не существует для себя, а является лишь частью дыхания океана, так и я не должен жить моею жизнью только для себя, а вбирать в себя все, что меня окружает. Истинная этика внушает мне тревожные мысли. Она шепчет мне: ты счастлив, поэтому ты обязан пожертвовать многим. Все, что тебе дано в большем степени, чем другим — здоровье, способности, талант, успех, чудесное детство, тихий домашний уют,— все это ты не должен считать само собой разумеющимся. Ты обязан отплатить за это. Ты обязан отдать силы своей жизни ради другой жизни.

Голос истинной этики опасен для счастливых, если они начинают прислушиваться к нему. Она не заглушает иррациональное, которое тлеет в их душе, а пробует поначалу, не сможет ли выбить человека из колеи и бросить его в авантюры самоотречения, в которых мир так нуждается...

Этика благоговения перед жизнью — неумолимый кредитор, отбирающий у человека его время и его досуг. Но ее твердость добрая и понимающая. Многие современные люди, которых труд на производстве превращает в машины, лишая их возможности относиться к окружающим с тем деятельным соучастием, которое свойственно человеку как человеку, подвергаются опасности превратить свою жизнь в эгоистическое прозябание. Некоторые из них чувствуют эту опасность. Они страдают от того, что их повседневный труд не имеет ничего общего с духовными идеалами и не позволяет им использовать для блага людей свои человеческие качества. Некоторые на том и успокаиваются. Их устраивает мысль о том, что им не нужно иметь никаких обязанностей вне рамок своей работы.

Но этика благоговения перед жизнью не считает, что людей надо осуждать или хвалить за то, что они чувствуют себя свободными от долга самоотречения ради других людей. Она требует, чтобы мы в какой угодно форме и в любых обстоятельствах были людьми по отношению к другим людям. Тех, кто на работе не может применить свои добрые человеческие качества на пользу другим людям и не имеет никакой другой возможности сделать это, она просит пожертвовать частью своего времени и досуга, как бы мало его ни было. Подыщи для себя любое побочное дело, говорит она, пусть даже незаметное, тайное. Открой глаза и поищи, где человек или группа

людей нуждается немного в твоём участии, в твоём времени, в твоём дружеском расположении, в твоём обществе, в твоём труде. Может быть, ты окажешь добрую услугу человеку, чувствующему себя одиноко, или озлобленному, или больному, или неудачнику. Может быть, это будет старик или ребенок. Или доброе дело сделают добровольцы, которые пожертвуют своим свободным вечером или сходят по какому-либо делу для других.

Кто в силах перечислить все возможности использования этого ценного капитала, называемого человеком! В нем нуждаются во всех уголках мира. Поэтому поищи, не найдешь ли ты применения своему человеческому капиталу. Не пугайся, если вынужден будешь ждать или экспериментировать. Будь готов и к разочарованиям. Но не отказывайся от этой дополнительной работы, которая позволяет тебе чувствовать себя человеком среди людей. Такова твоя судьба, если только ты действительно этого хочешь...

Так говорит истинная этика с теми, кто может пожертвовать частицей своего времени или человечности. Пожелаем им счастья, если они послушаются ее голоса и уберегут себя тем самым от духовного оскудения.

Всех людей независимо от их положения этика благоговения перед жизнью побуждает проявлять интерес ко всем людям и их судьбам и отдавать свою человеческую теплоту тем, кто в ней нуждается. Она не разрешает ученому жить только своей наукой, даже если он в ней и приносит большую пользу. Художнику она не разрешает жить только своим искусством, даже если он творит добро людям. Занятому человеку она не разрешает считать, что он на своей работе уже сделал все, что должен был сделать. Она требует от всех, чтобы они частичку своей жизни отдали другим людям. В какой форме и в какой степени они это сделают, каждый должен решать соответственно своему разумению и обстоятельствам, которые складываются в его жизни. Жертвы одного внешне незаметны. Он приносит их, не нарушая нормального течения своей жизни. Другой склонен к ярким, эффектным поступкам в ущерб своим интересам. Никто не должен помышлять судить другого. Тысячью способами может выполнить человек свое предназначение, творя добро. Жертвы, которые он приносит, должны оставаться его тайной. Но все вместе мы должны знать, что наша жизнь приобретает ценность лишь тогда, когда мы ощутим истинность следующих слов: «Кто теряет свою жизнь, тот ее находит».

Этические конфликты между обществом и индивидом возникают потому, что человек возлагает на себя не только личную, но и «надличную» ответственность. Там, где речь идет только обо мне, я должен проявлять терпение, всегда прощать, быть внимательным к другим и добросердечным. Но каждый из нас может оказаться в таком положении, когда он отвечает не только за себя, но за дело и вынужден поступать вразрез с личной моралью.

Ремесленник, стоящий во главе пусть даже самой небольшой мастерской, и музыкант, отвечающий за программу концерта, не могут быть теми людьми, какими бы они хотели быть. Первый вынужден увольнять нерадивого рабочего или пьяницу, несмотря на все сочувствие к их семьям. Второй не

может допустить выступления певицы, потерявшей голос, хотя он знает, насколько это для нее мучительно.

Чем шире сфера деятельности человека, тем чаще ему приходится приносить свои чувства в жертву общественному долгу. Из этого конфликта обычно находят выход в том, что якобы общая ответственность в принципе устраняет личную ответственность. В этом плане общество и рекомендует человеку поступать. Для успокоения совести тех, кому такое решение кажется слишком категоричным, оно предлагает еще несколько принципов, определяющих, согласно принятым нормам, степень возможного участия личной морали.

Обычной этике не остается ничего другого, как подписать эту капитуляцию. В ее распоряжении нет средств защиты личной морали, ибо она не располагает абсолютными понятиями добра и зла. Иначе обстоит дело с этикой благоговения перед жизнью. Она обладает тем, чего не имеют другие. Поэтому она никогда не сдает свою крепость, хотя постоянно находится в осаде. Она чувствует в себе силы все время удерживать ее и держать в постоянном напряжении противника путем частых вылазок.

Этична только абсолютная и всеобщая целесообразность сохранения и развития жизни, на что и направлена этика благоговения перед жизнью. Любая другая необходимость или целесообразность не этична, а есть более или менее необходимая необходимость или более или менее целесообразная целесообразность. В конфликте между сохранением моей жизни и уничтожением других жизней или нанесением им вреда я никогда не могу соединить этическое и необходимое в относительно этическом, а должен выбирать между этическим и необходимым, и в случае, если я намерен выбрать последнее, я должен отдавать себе отчет в том, что беру на себя вину в нанесении вреда другой жизни. Равным образом я не должен полагать, что в конфликте между личной и надличной ответственностью я могу компенсировать в относительно этическом этическое и целесообразное или вообще подавить этическое целесообразным,— я могу лишь сделать выбор между членами этой альтернативы. Если я под давлением надличной ответственности отдам предпочтение целесообразному, то окажусь виновным в нарушении морали благоговения перед жизнью.

Искушение соединить вместе целесообразное, диктуемое надличной ответственностью, с относительно этическим особенно велико, поскольку его подкрепляет то обстоятельство, что человек, повинующийся надличной ответственности, поступает неэгоистично. Он жертвует чьей-то жизнью или чьим-то благополучием не ради своей жизни или своего благополучия, но только ради того, что признает целесообразным в плане жизни и благополучия некоторого большинства. Однако этическое — это нечто большее, чем неэгоистическое! Этическое есть не что иное, как благоговение моей воли к жизни перед другой волей к жизни. Там, где я каким-либо образом жертвую жизнью или наношу ей вред, мои поступки выходят за рамки этики и я становлюсь виновным, будь то эгоистически виновным ради

сохранения своей жизни или своего благополучия, будь то неэгоистически — ради сохранения жизни и успеха некоторого большинства людей.

Это столь частое заблуждение — приписывать этический характер нарушению морали благоговения перед жизнью, совершаемому из неэгоистических побуждений, — является тем мостом, вступив на который этика неожиданно оказывается в области неэтического. Этот мост необходимо разрушить.

Сфера действия этики простирается так же далеко, как и сфера действия гуманности, а это означает, что этика учитывает интересы жизни и счастья отдельного человека. Там, где кончается гуманность, начинается псевдоэтика. Тот день, когда эта граница будет всеми признана и для всех станет очевидной, явится самым значительным днем в истории человечества. С этого времени станет невозможным признавать действительной этикой ту этику, которая перестала уже быть этикой, станет невозможным одурачивать и обрекать на гибель людей.

Вся предшествующая этика вводила нас в заблуждение, скрывая от нас нашу виновность в тех случаях, когда мы действовали в целях самоутверждения или по мотивам надличной ответственности. Это лишало нас возможности серьезно задуматься над своими поступками. Истинное знание состоит в постижении той тайны, что все окружающее нас есть воля к жизни, в признании того, насколько мы каждый раз оказываемся виновными перед жизнью.

Одурманенный псевдоэтикой, человек, подобно пьяному, неверными шагами приближается к сознанию своей вины. Когда же он наконец серьезно задумывается над жизнью, он начинает искать путь, который бы меньше всего толкал его на моральные проступки.

Мы все испытываем искушение преуменьшить вину антигуманных поступков, совершаемых по мотивам надличной ответственности, ссылкой на то, что в данном случае мы в наибольшей степени отвлекаемся от самих себя. Но это лишь хитроумное оправдание виновности. Так как этика входит в миро- и жизнеутверждение, она не разрешает нам такого бегства в мироотрицание. Она запрещает нам поступать подобно той хозяйке, которая поручает убивать рыбу кухарке, и заставляет нас взять на себя все положенные следствия надличной ответственности даже и в том случае, когда мы в состоянии отвести ее от себя под более или менее благовидными предложениями.

Итак, каждый из нас в зависимости от жизненных обстоятельств должен был совершать поступки, связанные с надличной ответственностью. Эти поступки диктуют нам не коллективистские взгляды, а побуждения человека, стремящегося действовать в согласии с этическими нормами. В каждом отдельном случае мы боремся за то, чтобы в подобных поступках сохранить максимум гуманности. В сомнительных случаях мы решаемся поступить скорее в интересах гуманности, чем в интересах преследуемой цели. Когда наконец мы приобретаем способность серьезно и со знанием дела оценивать поступки людей, то начинаем задумываться над тем, над чем обычно не

задумываются, например над тем, что любая публичная деятельность человека связана не только с фактами, реализованными в интересах коллектива, но и с созданием определенных нравственных убеждений, которые служат делу совершенствования коллектива. Причем создание таких убеждений даже важнее, чем непосредственно достигаемые цели. Общественная деятельность, при которой не прилагают максимума сил для соблюдения гуманности поступков, разрушает эти убеждения. Тот, кто, ссылаясь на надличную ответственность, не задумываясь жертвует людьми и счастьем людей, когда это кажется ему необходимым, конечно, чего-то достигает. Но высшие достижения ему недоступны. Он обладает только внешней, а не внутренней силой.

Духовную силу мы обретаем лишь тогда, когда люди замечают, что мы поступаем не автоматически, всякий раз согласно одним и тем же принципам, а в каждом отдельном случае боремся прежде всего за гуманность. Люди слишком мало вкладывают сил в эту борьбу. Все мы — начиная от самого маленького работника самого маленького предприятия и кончая политическим деятелем, ведающим судьбами войны и мира,— нередко действуем по готовым рецептам и, следовательно, уже не как люди, а как исполнители, служащие общим интересам. Поэтому-то мы часто не испытываем доверия к справедливости, осененной светом человечности. Мы по-настоящему даже и не уважаем друг друга. Все мы чувствуем себя во власти морали благоприятных обстоятельств, морали расчетливой, безличной, прикрывающей себя принципами и обычно не требующей большого ума. Эта мораль способна ради осуществления ничтожных интересов оправдать любую глупость и любую жестокость. Поэтому у нас безличная мораль благоприятных обстоятельств противостоит столь же безличной морали благоприятных обстоятельств. Все проблемы решаются бесцельной борьбой этих сил, ибо не существует нравственных убеждений, которые могут сделать эти проблемы разрешимыми.

Только в нашей борьбе за гуманность рождаются силы, способные действовать в направлении истинно разумного и целесообразного и одновременно оказывать благотворное влияние на существующие нравственные убеждения. Поэтому человек, поступающий по мотивам надличной ответственности, должен чувствовать свою ответственность не только за достигаемые цели, но и за создаваемые его действиями взгляды.

Итак, мы служим обществу, не принося себя в жертву ему. Мы не разрешаем ему опекать нас в вопросах этики, подобно тому как скрипач не будет брать уроки музыки у контрабасиста. Ни на одно мгновение не должно оставлять нас недоверие к идеалам, создаваемым обществом, и убеждениям, господствующим в нем. Мы знаем, что общество преисполнено глупости и намерено обманывать нас относительно вопросов гуманности. Общество — ненадежная и к тому же слепая лошадь. Горе кучеру, если он заснет!

Все это звучит слишком категорично. Общество служит интересам этики, когда оно санкционирует законом ее элементарные правила и передает из поколения в поколение этические идеи. В этом его большая заслуга, и мы

благодарны ему. Но это же общество все время задерживает развитие этики, беря на себя роль этического воспитателя, что совершенно не входит в его функции. Этическим воспитателем является только этически мыслящий и борющийся за этику человек. Понятия добра и зла, бытующие в обществе, суть бумажные деньги, ценность которых определяется не напечатанными на них цифрами, а их отношением к золотому курсу этики благоговения перед жизнью. По существующему курсу ценность этих понятий равна приблизительно ценности бумажных денег полуобанкротившегося государства.

Гибель культуры происходит вследствие того, что создание этики перепоручается государству. Обновление культуры будет возможно только тогда, когда этика вновь станет делом мыслящего человека, а люди будут стремиться утвердить себя в обществе, как нравственные личности. В той мере, в какой мы будем это осуществлять, общество превратится из чисто естественного образования в этическое. Предшествующие поколения совершили ужасную ошибку, когда начали идеализировать государство в этическом плане. Мы выполним свой долг по отношению к обществу, если критически оценим его и попытаемся, насколько это возможно, сделать его более этическим. Так как мы обладаем абсолютным масштабом этического, то не сможем впредь признавать в качестве этики принципы целесообразности и вульгарную мораль благо приятных обстоятельств. Мы, безусловно, не сможем ни при каких условиях признать в качестве этики бессмысленные идеалы власти, нации, политических пристрастий, предлагаемые нам жалкими политиками и раздуваемые одурманивающей пропагандой. Все возникающие в обществе принципы, убеждения и идеалы мы должны крайне педантично измерять мерой абсолютной этики благоговения перед жизнью. Одобрять мы должны только то, что согласуется с гуманностью. Мы прежде всего обязаны свято защищать интересы жизни и счастья человека. Мы должны вновь поднять на щит священные права человека. Не те права, о которых разглагольствуют на банкетах политические деятели, на деле попирая их ногами,— речь идет об истинных правах. Мы требуем вновь восстановить справедливость. Не ту, о которой твердят в юридической схоластике сумасбродные авторитеты; и не ту, о которой до хрипоты кричат демагоги всех мастей, ноту, которая преисполнена идеей ценности каждого человеческого бытия. Фундаментом права является гуманность.

Таким образом, мы заставляем полемизировать принципы, убеждения и идеалы коллективности с гуманностью. Тем самым мы придаем им разумность, ибо только истинно этическое есть истинно разумное. Лишь в той мере, в какой этические принципы и идеалы входят в действующий моральный кодекс общества, он может быть истинно и целесообразно использован обществом.

Этика благоговения перед жизнью дает нам в руки оружие против иллюзорной этики и иллюзорных идеалов. Но силу для осуществления этой этики мы получаем только тогда, когда мы — каждый в своей жизни —

соблюдаем принципы гуманности. Только тогда, когда большинство людей в своих мыслях и поступках будут постоянно побуждать гуманность полемизировать с действительностью, гуманность перестанут считать сентиментальной идеей, и она станет тем, чем она должна быть — основой убеждений человека и общества.

*Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. С 315—323*

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 2. — М.: Политиздат, 1991. — С. 366 — 374.

## А. ПЕЧЧЕИ

На протяжении моей жизни ход человеческой истории решительно и внезапно переменялся. Суть этих изменений в том, что за какие-нибудь несколько десятилетий завершился продолжавшийся много тысяч лет период медленного развития человечества и наступила новая динамичная эра. Буквально ошеломленные событиями, которые свидетельствуют об этих переменах, мы все время задаем себе вопрос, что же несет нам новый век, станет ли он звездным часом человечества или ввергнет нас в пучину ужасов и зла. И как мне кажется, все перемены, в сущности, касаются именно *изменившегося положения самого человека на Земле*. Если раньше он был не более чем одним из многих живых существ, живущих на планете, то теперь человек превратил ее в свою безраздельную империю.

С тех пор как существует человечество, люди всегда бились над вопросом, что значит быть человеком и в чем состоит его земное предназначение. Поиски ответов на этот вопрос служили вечной темой философских и религиозных размышлений. Теперь, впервые в истории, появился новый мощный фактор, который необходимо принимать во внимание, размышляя о судьбах человечества. Этот фактор — *огромное и всевозрастающее материальное могущество самого человека*. Это могущество возрастает по экспоненте, год за годом аккумулируя силы для дальнейшего роста. Однако развитие это в высшей степени сомнительно и неоднозначно, ибо оно может послужить на благо человеку только при разумном и сдержанном к нему отношении, при безрассудном же его использовании человеку грозит непоправимая катастрофа.

В сущности, с тех самых пор, как появился венец творения — Человек, жизнь на планете постоянно и непрерывно изменялась, и его влияние стабильно росло на протяжении тысяч поколений. Теперь, однако, когда оно стало возрастать с поистине космической скоростью, судьба всех имеющихся форм жизни на Земле — в значительно большей степени, чем в прошлом, — зависит от того, что делает или чего не делает человек. Основной вопрос сегодня сводится к тому, как умудрится он разместить на Земле дополнительные миллиарды себе подобных и обеспечить все их многочисленные потребности и желания. Какие еще живые существа окажутся новыми жертвами его триумфального исторического восхождения и расширения, за которые ответственным будет только он один?

Под угрозой сейчас находится большинство оставшихся высших видов растений и животных. Те из них, которые человек избрал для удовлетворения своих потребностей, давно уже гибридизированы, приспособлены к его требованиям и выхолены с единственной целью — производить для него как можно больше пищи и сырья. На них уже более не распространяется дарвиновский закон естественного отбора, который обеспечивает генетическую эволюцию и приспособляемость диких видов. (А ведь до сих пор так и неизвестно, в какой мере одомашнивание снижает со временем сопротивляемость к болезням и паразитам.) Впрочем, и те виды, которым человек не смог найти непосредственного применения, тоже обречены. Их естественная обитель и их ресурсы были отняты и безжалостно разрушены в целеустремленном продвижении человечества вперед. Не менее печальная участь ждет и нетронутую дикую природу, которая все еще нужна как естественная среда обитания самого человека, для его физической и духовной жизни.

Однако поднятая человеком грозная волна, если ее не приостановить, неминуемо достигнет и его самого. Ведь человек является результатом длительной естественной эволюции — процесса, в котором, как в сложнейшей ткани, тесно и прихотливо переплелись жизни тысяч и тысяч организмов. Сможет ли он сам выжить в роскошном замке, куда добровольно заточил себя, отгородившись от всего живого мира, взяв с собой лишь нескольких приближенных? Никогда еще судьба человека не зависела в такой степени от его отношения ко всему живому на Земле. Ведь, нарушая экологическое равновесие и непоправимо сокращая жизнеобеспечивающую емкость планеты, человек таким путем может в конце концов сам расправиться со своим собственным видом не хуже атомной бомбы. И это не единственное, в чем новая благоприобретенная мощь человека отразилась на его собственном положении. Современный человек стал дольше жить, что привело к демографическому взрыву. Он научился производить больше, чем когда бы то ни было, всевозможных вещей, и к тому же в значительно более короткие сроки. Уподобившись Гаргантюа<sup>24</sup>, он развил в себе ненасытный аппетит к потреблению и обладанию, производя все больше и больше, вовлекая себя в порочный круг роста, которому не видно конца. Родилось явление, которое стали называть промышленной, научной, а чаще научно-технической революцией. Последняя началась тогда, когда человек понял, что может эффективно и в промышленных масштабах применять на практике свои научные знания об окружающем мире. Этот процесс идет сейчас полным ходом и все набирает и набирает скорость. Ведь непрерывный поток новых технологических процессов, различных приспособлений, готовых товаров, машин и оружия, который с поистине захватывающей дух скоростью выливается из технического рога изобилия, поглощает лишь часть непрерывно возрастающего объема научных знаний человека. Можно с уверенностью утверждать, что поток этот и дальше будет расти.

Истоки этой почти зловещей благоприобретенной мощи человека лежат в комплексном воздействии всех названных выше изменений, а их

своеобразным символом стала современная техника. Еще несколько десятилетий назад мир человека можно было — в весьма упрощенном виде, разумеется, — представить тремя взаимосвязанными, но достаточно устойчивыми элементами. Этими элементами были Природа, сам Человек и Общество. Теперь в человеческую систему властно вошел четвертый и потенциально неуправляемый элемент — основанная на науке Техника. ...Человеческая *Техника* почти так же стара, как и сам человек, и была она вначале скорее средством, чем самоцелью. Вплоть до недавнего времени человеку удавалось поддерживать разумное равновесие между тем материальным прогрессом, который она обеспечивала, и той социокультурной жизнью, которой она должна была служить. Теперь, когда техника в своей новой версии зиждется исключительно на науке и ее достижениях, она приобрела статус доминирующего и практически независимого элемента. Прежнее равновесие оказалось безвозвратно нарушенным. За последние годы результаты технического развития и их воздействие на нашу жизнь стали расширяться и расти с такой прямо-таки астрономической скоростью, что оставили далеко позади себя любые другие формы и виды культурного развития. Так что человек уже не в состоянии не только контролировать эти процессы, но даже просто осознавать и оценивать последствия всего происходящего. Техника, следовательно, превратилась в абсолютно неуправляемый, анархический фактор. Однако даже в том случае, если нам удастся поставить ее под надежный контроль, все равно она уже принесла в наш мир и будет продолжать вызывать в нем поистине эпохальные изменения. И новый факт здесь состоит в том, что — *на радость нам или на горе — техника, созданная человеком, стала главным фактором изменений на Земле.*

Итак, человеческое развитие вступило в новую эру. С незапамятных времен человек, изобретая остроумные, но относительно бесхитростные приспособления, облегчающие ему жизнь, медленно, со скоростью черепахи, полз по пути прогресса. В начале текущего столетия темпы развития стали резко возрастать, машины стали больше и сложнее, но масштабы их все еще оставались «соизмеримыми» с самим человеком. Водораздел между двумя эпохами связан с появлением высокоразвитой техники и сложных искусственных систем в авиации и космонавтике, вооружении, транспорте, коммуникациях, информации, с использованием этих систем при сборе и обработке данных и т. д. Все эти технические новшества радикально изменили нашу повседневную жизнь. Гигантский мир, созданный человеком, не только ошеломлял нас, но порою производил пугающее впечатление. Гроздь сцепленных друг с другом человеческих и природных систем и подсистем — при всем том разнообразии, которое они приобретали в различных районах, — оказались прямо или косвенно связаны между собой. И сеть их опутала всю планету. Любое повреждение или нарушение в одной из этих систем может легко перекинуться на другие, приобретая порой характер эпидемий.

Так пришел конец той культуре и образу жизни, которые вели свое начало от далекой эпохи неолита. Мое поколение еще успело насладиться последними плодами этой безвозвратно ушедшей поры, ее утонченностью, изысканностью и элегантностью. Сейчас все это стремительно исчезает из нашей жизни. И мы приходим в замешательство, размышляя о той непомерной власти, которая заставила всю планету сдаться на милость человека. Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же время полный угроз и неизвестности, *маячит век безраздельной империи человека.*

Эта глобальная человеческая империя располагает, в сущности, всем необходимым для того, чтобы затмить все предыдущие цивилизации. И в то же время вполне возможно, что ее ждет трагический конец грандиозной вагнеровской Валгаллы <sup>25</sup>. По-видимому, мы сейчас слишком близки к поворотному пункту истории, чтобы рассмотреть в истинном, неискаженном виде возможные варианты будущего, к которому мы идем.

*Печчеи А. Человеческие качества. М., 1985. С. 63—68*

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.2. – М.: Политиздат, 1991. – С. 493 – 498.

## Вопросы

### **Фрейд З.**

Какие противоречия в культуре находит Зигмунд Фрейд?

Почему культура враждебна человеку, по мнению Фрейда?

В чем причина заблуждений человечества в отношении культуры. Какую причину указывает Фрейд?

На чем основана культура с точки зрения фрейдизма и почему именно такое основание берется в основу объяснения появления культуры?

Кто создает образцы культуры, в том числе и образцы поведения, по мнению Фрейда?

### **Бердяев Н.**

В чем сходство и различие культуры и цивилизации, по Бердяеву?

Каково влияние техники на культуру?

Какое место занимает культура

В каком соотношении находятся культура и общество?

На чем основана культура?

В чем заключается аристократический принцип качественного отбора?

В чем заключается подлинный и ложный духовный аристократизм?

Какие ценности могут быть признаны демократическими, а какие аристократическим?

Что является порождением высокой культуры?

О каких типах разговора он рассуждает и какой из них является показателем высокой культуры?

В чем трагедия культуры и человеческого творчества? Заклучает ли в себе высокая качественная культура перспективу бесконечного развития?

Каково должно быть отношение человека к культуре и технике?

Какова вообще роль человека в культуре?

### **Ж.Ж. Руссо**

В каком соотношении находятся телесные и духовные потребности, по Руссо?

Почему, согласно Руссо, совершенствование науки и искусства расслабляет наши души? В чем усматривал пороки цивилизации Руссо?

Согласны ли Вы с Руссо, что наука и искусство пагубно воздействует на нравы людей? Аргументируйте свою точку зрения.

### **Шопенгауэр**

Что называет Шопенгауэр источником и целью искусства?

В чем отличие науки от искусства, по Шопенгауэру?

Какое определение дает Шопенгауэр гениальности? Чем отличаются гениальный и обыкновенный человек?

Что означают, по мнению Шопенгауэра, понятие и идея, в чем их различия? Почему с помощью понятий невозможно понять идею?

Какую роль в жизни человека играет музыка?

Сравните субъективное и объективное в культуре в размышлениях Шопенгауэра и Бердяева.

### **Швейцер**

Какова роль этики благоговения перед жизнью по Швейцеру? В чем ее отличие от обычной этики? Привести примеры.

Почему возникают этические конфликты? Можно ли их разрешить? Привести примеры.

Почему, по мнению Швейцера, происходит гибель культуры? Можно ли надеяться на ее обновление?

Какой принцип, по Швейцеру, является основой убеждений человека и общества?

### **Печчеи А.**

Какова общая направленность цивилизации в XX в. с точки зрения итальянского мыслителя, председателя Римского клуба А. Печчеи?

В чем видит Печчеи достижения цивилизации?

В чем видит Печчеи недостатки цивилизации?

Какие проблемы ожидают человечество в будущем, с развитием цивилизации?

Почему проблемы цивилизации приобрели такой масштаб?

Какой выход из кризисной ситуации видит Печчеи?

Какая эволюция предстоит человечеству: природная или культурная?

В чем состоит сущность понятия «глобальные проблемы человечества»? Почему речь идет о глобалистике?

